

“ЗА ВЕЛИКОЕ ДЕЛО ЛЮБВИ!”

Беседа Валерия Ганичева с Татьяной Глушковой

Валерий Ганичев: Не кажется ли Вам, что великан Некрасов оказался сегодня полузабытым? Предыдущий его юбилей несколько лет назад был фактически не замечен. Некрасов, не поминаемый, не цитируемый в литературных дискуссиях – и издаваемый ли сегодня? – словно бы выбракован. Чем объясняете Вы это?

Татьяна Глушкова: Если ответить кратко – воцарившейся народофобией. Судьба Некрасова, как ничья, быть может, другая писательская судьба, совершенно неотделима от судьбы русского народа, от отношения к русскому народу. Забвение Некрасова, пренебрежение к нему началось тогда, когда “катехизисом” отношения к народу оказалось – и для интеллигенции, и для власти – “Собачье сердце” М. Булгакова с его образом Шарикова – якобы воплощением русских народных свойств...

Надо учесть также и общую резкую политизацию сознания, в силу которой репутация Некрасова как “революционного демократа” отнюдь не способствует его славе в контрреволюционную эпоху. Памятуя об этой репутации великого русского поэта, его отвергли, по сути, и современные либеральные демократы (прокапиталистического толка), и неомонархисты, и явно обновлённые нынешние коммунисты с учреждёнными ими “лимитами на революции”... Так что у великого нашего поэта положение и впрямь, как в старину говорилось, “хуже губернаторского”!

В. Г.: Как вы оцениваете некрасововедение советской эпохи? Может быть, и в нём, да и в тогдашней пропаганде русской классики вообще, заложены были предпосылки к тому, чтобы теперь выдвинуть на место Некрасова – место из первого ряда нашей классики – другие имена: Тютчева, Фета, наконец, Достоевского, – которых даже прямо противопоставляют Некрасову? Но в действительности противостоят ли они друг другу антагонистически, или это фланги нашей великой литературы, равно не заслуживающие исключения, поправки?

Т. Г.: Некрасововедение советской эпохи нельзя, разумеется, не упрекнуть в тенденциозности. Прежде всего, в том атеистическом ключе, в каком рассматривалась русская классика вообще, а Некрасов в частности, хотя это сильно искажает его образ. Однако советское некрасововедение при всём том привалило всё же именно любовь к Некрасову. Любовь, которой достойна великая поэзия и великое сердце того, кого при любых наших личных убеждениях нельзя не назвать: “РУССКОЙ ЗЕМЛИ ЧЕЛОВЕК ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ”. Уникальный человек. Грандиозного масштаба поэт.

Что же касается грубых противопоставлений внутри нашей классики (к которым, стоит заметить, не прибегал даже изощрённый, по преимуществу эстетский “Серебряный век”, высоко ценивший и Фета, и Тютчева, и Достоевского, и Некрасова, — если вспомнить восторженные отзывы о нём и Бальмонта, и Блока, и Н. Гумилёва, и В. Розанова, и т. д.), — я ответила бы на все “благородные” современные заушательства по адресу Некрасова, “замечаемого” или “побиваемого” тем же Достоевским, простым документальным фактом. Воротясь с похорон Некрасова, Достоевский, произносивший на этих похоронах знаменитую речь, сказал жене следующее: “Я скоро последую за Некрасовым... Прошу тебя, похорони меня на том же кладбище. Я не хочу заснуть последним сном на Волковом, рядом с другими русскими писателями... Я хочу лежать рядом с Некрасовым”. А ведь — учтём это! — они не были близкими друзьями. В Достоевском, я думаю, говорило в данном случае и сознание масштаба (соизмеримого с ним самим), и чувство безусловного внутреннего родства с великим, “страстным к страданию поэтом”, ближе всех подошедшим к “правде народной”... Смерть Некрасова Достоевский воспринял как огромную и знаменательную для себя утрату, которая потрясла всё его существо...

В. Г.: Отчего же малоизвестен такой пронзительный факт?

Т. Г.: Власть тенденции! Тенденции, “пересиливающей” неугодную ей фактографию... Но Некрасов в любом аспекте его жизни и творчества недостаточно изучен. Достоевский же, к сожалению, превращён нынче в эдакую “христианскую дубину”, которой, не глядя, размахивают во все стороны, ставя его чуть не выше самого Евангелия. Ну, и Некрасов тут, “революционный демократ”, со всею нелепостью попадает под руку... Воистину: заставь (кое-кого) Богу молиться, он и лоб разобьёт! Как гласит поговорка...

В. Г.: Как бы вы коротко обозначили их внутреннее родство — Достоевского и Некрасова?

Т. Г. Короче всего я выразила это в стихах, в моей книге “Возвращение к Некрасову”:

*Не быть бы прозе Достоевского,
Когда б не рядышком — строка,
что душу рвёт, за горло схватывает
не устаёт — не отдохнёт...*

Некрасовская, конечно, строка!

Поэзия Некрасова проложила путь к исповедально-психологической прозе Достоевского с его пестротой социальных типов: от “дна жизни” до высокого светского круга. Не из одной “Шинели” Гоголя — ещё и “из Некрасова” вышел Достоевский. Гениальное “Еду ли ночью по улице тёмной...” написано раньше, чем создан был образ Сонечки Мармеладовой. Без Некрасова не узаконить бы в русской литературе “бедных людей”, “униженных и оскорблённых”, не разлиться бы тому глубокому христианскому чувству любви к ближнему (“малому” ближнему), к страдающему человеку, которое в русском обществе закрепляли они оба: и Некрасов, и Достоевский... Некрасов, несомненно, вдохновлял Достоевского. Тому доказательство, в частности, множество цитат из стихов Некрасова в произведениях Достоевского... Впрочем, всё это — большая, интереснейшая тема, которой я лишь чуть-чуть здесь касаюсь.

В. Г.: Значит, можно считать Некрасова не меньшим явлением, гением русского духа, чем Достоевский?

Т. Г. Конечно. Тем более, что “атомист” этого духа Достоевский зачастую ведь брал наш русский дух в его психологических экстремумах, в его крайностях, “надрывах”, едва ли не на грани даже и патологии, в его специфических “изгибах”. Это приводило и к размыванию русского духа (парадокс “специфичности”) в той “всечеловечности”, которую, если воспользоваться словом Ивана Карамазова, и впрямь, пожалуй, недурно бы “сузить”... (Не оттого ли рядом с Достоевским послан был нам Богом и критик его — Константин Леонтьев?) У Некрасова же этот самый **русский дух предстаёт как естественная, не форсированная, животворящая стихия**. Это очень важно! Известно, что перед походом “нах Остен” гитлеровские “нациеведы”, спецработчики пристально изучали Достоевского, чтобы постичь психологию, “менталитет” русских, назначенных для покорения. А вот знали бы

они Некрасова, эти характеры, то призадумались бы, всё ли в русских исчерпывается карамазовщиной, “широтой”, “надрывами”, князь-мышкинской “неотмирностью” и безответностью... Ну, хоть о женщинах русских – вынесших на своих плечах Великую Отечественную войну – получили бы трезвое представление...

В. Г.: “Коня на скаку остановит, В горящую избу войдёт”?..

Т. Г.: А поэма “Русские женщины”? О жёнах декабристов. “В Нерчинск! Закладывать скорей!..” – несмотря на все запугивания, угрозы и гибелью, и бесславием... Это же чудо! Без всякой мучительной психологии – живой, необсуждаемый, необъясняемый порыв к подвигу. Воля к подвигу самоотверженности. Ведь Некрасов в этих дворянок, во француженку даже княгиню Трубецкую вложил именно русский национальный, внесловный, так сказать, женский характер, и сколько там, в поэме, православного чувства – и по отношению к народу, и по отношению к мученикам, каторжникам-декабристам, “...и прежде чем мужа обнять, Оковы к губам приложила!..” – как рассказывает у Некрасова Мария Волконская.

В. Г.: Вы отводите в сторону политический смысл этой некрасовской поэмы?

Т. Г.: Его нельзя отрицать, но нельзя и не видеть **сверхсмыслов**, без которых не обходится поэзия. И с учётом этого по поводу “Русских женщин” замечу: к сожалению, православствующие наши контрреволюционеры, надмевающиеся и даже глумящиеся над теми же декабристами, забывают сегодня, в частности, что искупительное мученичество – по-православному – залог святости, которая, конечно же, не сводится к самим по себе “политическим убеждениям”... Но в связи с этим отмечу и другое: не понимая православного характера, всегда чутко выписываемого Некрасовым, те же немцы надеялись своими зверствами устроить русских людей, между тем как страстотерпцы – жертвы этих зверств – вызывали, как правило, не “расчётный” ужас и страх, а сострадательное восхищение, служившее массовому героизму... А чтобы закончить разговор о вкусово-идеологических противопоставлениях, унижающих Некрасова на фоне “другой” русской классики, выскажу сомнение в том, что при всей глубине Достоевского найдём мы в его романах образ **“всевыносящего русского племени”**, так любовно и мудро, так эпически-непреложно во всей духовной красоте его вылепленный Некрасовым...

В. Г.: Тут, собственно, мы подходим к вопросу: какие “пустоты”, какие “белые пятна” в предшествовавшей, да и современной ему литературе заполнил Некрасов? Как, в частности, соотносит его значение с известным положением: “Пушкин – наше всё”, высказанным Аполлоном Григорьевым и широко подхваченным сегодня? То есть в чём новизна и величие Некрасова как поэта? Или в чём **чрезвычайность** его **явления** (по выражению Достоевского)?

Т. Г.: Очень большие пустоты заполнил. Очень принципиальные. Так, разве не странно, что до Некрасова в русской книжной поэзии (в явственном отличии от фольклора) не было **образа матери**! И это – при том культе Богородицы, который присущ русским до такой степени, что даже свою страну, Россию, они считают “домом Богородицы”... Некрасов дал потрясающий образ страдальцы-матери, который, в сумме его произведений на эту тему, безусловно, хотя и нечаянно, корреспондирует с представлениями о Богородице, Матери как идеале. То есть высокодуховный образ, где мать – нечто большее, чем носительница материнской любви, а сын склоняется перед нею не только по долгу кровного родства и чисто сыновней благодарности, но и как перед объективной духовной святыней. Мать у него – не просто родительница, но и вдохновительница. Это она “силу свободную, гордую” заложила “в грудь” поэта – “и на правый поставила путь”. Материнская любовь вырастает в стихах Некрасова в героическую, героико-трагическую Миробъемлющую Любовь. Ведь это именно мать, покойную свою мать, “чистойшей любви божество”, просит поэт: “Уведи меня в стан погибающих // За великое дело любви!” – и, стало быть, знает, что несвойствен ей примитивный материнский эгоизм. Что она – светоч, а не символ “заветрия”, своекорыстного уют... Мать у Некрасова – спасительница в высшем смысле этого слова. Поэт очищает себя перед её образом, её святою тенью, освобождаясь от “мелких помыслов, мелких страстей” и снова и снова отдавая себя “на суд” той, о ком – беспримерно в истории поэзии – сказано:

*Не робеть перед правдой-царицею
Научила ты музу мою...*

Ну, а хождение реальной матери Некрасова по мукам, как предстаёт оно в его стихах, разве не перекликается в своём роде со страдальческим уделом Богородицы? Тут ведь кроткое, но и величавое приятие страданий, которое выглядит как доказательство неуязвимой внутренней силы... Мать поэта и за гробом страдает за него: подготовив его к жизни и творчеству, выведя его “на дорогу тернистую” как достойнейшую из дорог, она, точно именно святое существо, готовит его и к приятию кончины – сквозь великие его предсмертные муки... Ничего подобного по тончайшей религиозности, по высоте земно-небесного сыновнего чувства нет, я думаю, во всей мировой поэзии!

И, наконец, это обобщение о русской матери – если продлить приведённую ранее цитату:

*Всевыносящего русского племени
Многострадальная мать!*

Две строки – а какая формула народной жизни и какое преклонение перед основой основ русского бытия!

Можно было бы поговорить и о выходе этого образа на образ “матери-земли”, “матери-природы”, “матери-Родины”. Широка философия, открывающаяся за некрасовским лирическим чувством!

В. Г.: А есть ли мост, перекидывающийся от некрасовской темы матери в поэзию XX века и непосредственно в наши дни? Может быть, прежде всего, здесь уместно вспомнить Сергея Есенина?

Т. Г.: “Ты жива ещё, моя старушка...”? Нет, не думаю... “Мать-земля” – другое дело. Да и “мать-Родина” немало, конечно, представлена в позднейшей поэзии. Но вот мать как живой идеал духовный, как воплощение всего Прекрасного, к чему стремится поэт?.. Кажется, столь духовного-счастливой (хоть и житейски горестной) судьбы после Некрасова ни у кого уже не было. Либо поэты не сумели разглядеть в русских своих матерях того, что сумел увидеть и через всю жизнь пронести Некрасов?.. Нечто сверхбытовое, сверхкровное и сверхличное – при искреннейше личном переживании...

В. Г.: Но, должно быть, этим не исчерпывается новизна Некрасова? Хотя то, что вы отметили сейчас, само по себе – огромно... И, что характерно, вы связываете лично-биографические переживания Некрасова с его религиозным чувством, в котором обычно отказывали “революционному демократу”. Поясните подробней такое ваше прочтение.

Т. Г.: Отказывали – и, к сожалению, отказывают. Передо мною – изданный в 1997 году в серии “Новая школьная библиотека” двухтомник Некрасова. В предисловии к нему читаю: “Конечно, для Некрасова Бога как такового, в церковно-православном представлении, не существовало”. И утверждает это очень авторитетный человек, нынешний директор Пушкинского Дома Н. Н. Скатов.

В. Г.: Это “работает” старая, советского времени, традиция толкования поэзия Некрасова?

Т. Г.: Боюсь, что – старая традиция плюс (если привлечь и другие высказывания последних лет о великом поэте) новое высокомерие “свежевоцерковлённых”, так сказать, неофитов, которые зачастую – ох, как бдительно-строги, не замечая, что ведомы слепою гордыней...

И вот слово “религиозность” относительно Некрасова берётся сегодня в иронические, скептические кавычки, и о поэте, который в рыдающих стихах, биясь о плиты “Храма воздыханья, храма печали”, просил прощенья и обороны у “Бога угнетённых, Бога скорбящих, Бога поколений, предстоящих пред этим скудным алтарём”, – об этом поэте “церковно-просвещённые” наши умники заключают: “Тем более не приходится говорить о чём-то складывающемся в религиозную концепцию”!

Между тем некрасовская концепция русского Бога не отстаёт от тютчевской, общеизвестной...

В. Г.: “...Всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя”?

Т. Г.: Именно. И ведь вот что важно: Некрасову с малых лет привиты были как раз церковно-православные представления о Христе. И в том — несомненная заслуга его матери, даром что по рождению польки. Свидетельства его детской веры, детских умилений в храме Божьем рассыпаны в его стихах. И, собственно, образ матери с её “неземным выраженьем в очах” передаёт в некрасовских строках глубоко верующую, даже особо одарённую в этом смысле натуру... Наконец, сами социальные пристрастия Некрасова — его народолюбие, неизменное крестьянстволюбие — обуславливали укрепление в душе поэта всепроникающего православного чувства. Некрасовское народолюбие органично претворяется — в удивительной этой поэзии — в **православолубие**.

В. Г.: В отличие от других революционеров-демократов?

Т. Г. Да и насчёт некоторых других мы часто, не дорожа русской культурой, инквизиторствуя над иными её флангами, слишком спрямляем, упрощаем вещи... В частности, отказываемся признать, что у нас в предреформенную эпоху (разумею реформу 1861 года, сломавшую крепостное право) была — в русской культуре — своя **“теология освобождения”** (беру современный термин, родившийся в испаноязычном мире). Что не только Некрасов, но и Гоголь не так относились, допустим, к Белинскому, как “эталонный” сегодня Игорь Золотуский. И что у них были для того и исторические, и личные, и чисто творческие основания, невнятные сегодняшнему глазу и слуху — точно ли обострившемуся, умудрившемуся?..

А возвращаясь к прямой нашей теме, скажу: если В. И. Ленин назвал Льва Толстого “зеркалом русской революции”, то поэзия Некрасова, этого революционера-демократа, будучи, как мне кажется, тоже таким зеркалом (см. “позднего” Некрасова и, в частности, поэму “Современники”), — поэзия Некрасова есть в то же время **зеркало русской народной православной веры**. Зеркало народного русского православия. Чудно-правдивое, глубокое зеркало, которого до Некрасова мы отнюдь не имели. (А имели по большей части отражения прихода к вере детей или внуков французского Просвещения, умиляясь их прозрению на фоне **издревле зрячего** народа). Это огромная тема, не замеченная не только советскими литературоведами, но, увы, и религиозными мыслителями, которые немало обсуждали христианство или антихристианство (“недохристианство”) Пушкина, Лермонтова, Блока, но прошли мимо бесценной сокровищницы русского православного мироощущения, природно-религиозного чувства, какую содержит поэзия Некрасова... Многие, к сожалению, думают, что если поэт не перелagal в рифму молитву Ефрема Сирина или другие канонические тексты, не писал на библейские сюжеты и т. п., то, значит, он вообще обошёл ЭТУ тему. А у Некрасова — не тема, а нечто более глубинное, иррациональное и дорогое: сам стиль чувствований православного русского человека, и, кстати, вечная боль и страдание о спасении души...

В. Г.: Вы, наверное, имеете в виду стихотворение “Влас” с тем подвигом веры, который совершает герой, сам наложивший на себя высокое покаянное послушание, прошедший путь от “кромешной” греховности до едва ли не прямой святости?

Т. Г.: “Влас” — великое стихотворение, из тех стихов Некрасова, которые Достоевский называл “великими”. Но ведь, в сущности, то же — и в лирической исповеди “Рыцарь на час”, и в поэме “Тишина”, и в стихах “Орина, мать солдатская”, или “Что думает старуха, когда ей не спится”, и в стихотворении “Похороны”, и в “Последних песнях”... Сплошная тема греховности и обретения душой “света **вольного**”. Сплошные краеугольно-христианские размышления!.. Причём характерно, что Некрасов переносит в стихи не одну лишь общехристианскую догму, но и именно русское народное православие, порой самобытно смягчающее догму. Если некрасовский Влас со своей открывшейся “душой великой”, в сущности, строго классичен: его путь — это путь множества христианских святых, в своём роде и путь самого апостола Павла, то ведь что обнаруживается в гениальных, бессмертных “Похоронах”? В них же — носитель смертного греха, самоубийца, обagrивший свою “грешную кровию Неповинные наши поля”! И что же — народ, православный люд? Он ведь великодушно оплакивает “стрелка”-самоубийцу. “Ой, беда приключилася страшная!” — говорит, не грехом, а всеобщей бедою первым делом называя самоубийство “чужого человека”, погубление его души... Если над

чужим грехом можно надмеваться, “праведно” осуждать его (к чему вообще-то склонны люди), то над бедою — скорбят, плачут. Тем более что бедою-то причинил, как выясняется, “доброй души” человек, пусть и с “головой бесшабашной”. И вот “сердешным” крестьяне в ответ любовно называют его. “Почивай же, **дружок! Память вечная!**” — говорят и, сострадав неизвестной его кручине, предполагают, что, быть может, “зазноба сердечная” довела его до беды. А дальше идёт строфа, которую и не вымолвить без слёз:

*Мы дойдём, поведим твою милую:
Может быть, и придет любя,
И поплачет она над могилою,
И расскажем мы ей про тебя.*

Дойдут, видите ли, пеши, в лаптях своих до неизвестного города, найдут, видите ли, эту милую “роду нездешнего”, чтоб сбылось их дружное пожелание “молодому стрелку”: “**Почивай себе с миром, с любовью!** Почивай! Бог тебе судия...”!

В. Г.: “Золото, золото — сердце народное!” — остаётся повторить тут строчку из поэмы “Кому на Руси жить хорошо?”

Т. Г.: И кто же ещё, кроме Некрасова, так заглянул в это сердце? Столько увидел в нём или угадал?... Однако заметьте, что в стихах этих, про “небогатое наше село”, — явственное противоречие с суровым церковным установлением... Народ словно хочет самочинно, насколько может, поправить непоправимое, восполнить бесславие похорон самоубийцы. Похорон “без церковного пенья, без ладана. Без всего, чем могила крепка... Без попов!”... Похоже, народ — и стар, и мал у Некрасова — выдвигает на месте этого свою, “беспринципную” жалость-любовь. Внецерковную вроде бы, но далёкую ли от Христовой любви?

В. Г.: Действительно, интересно бы, чтобы религиозные наши мыслители прокомментировали эту подмеченную Некрасовым своеобразность народного взгляда на, казалось бы, выясненные, с церковной точки зрения, вещи.

Т. Г.: Феномен некинского православия с проросшими в него дохристианскими представлениями... В частности, эту уверенность насчёт загубившей свою душу “стрелка”:

*Будут нивы ему хлебородные
Безреховные сны навевать...*

Эту веру в посмертное очищение его... Самую землёй. “Высокой рожью”... Тут ведь такая глубина поэтической мысли!

В. Г.: И естественно, что эти стихи Некрасова стали песней. Причём одной из любимейших по сей день песен...

Т. Г.: Я много думала над этим стихотворением, так хватающим за душу. Об этом словно бы **античном** (русском крестьянском) хоре, рассказывающем про “беду страшную”, да незримую “зазнобу сердечную”, да “неповинные наши поля”... Думала о ласковом этом “дружок”... И в своём стихотворении “О песне” из книги “Возвращение к Некрасову” заключила о “безрелигиозном” нашем поэте:

*Нет, совсем не чернильной малостью,
не усердьем, как шепчет молва, —
Божьей милостью, ангельской радостью
можно вымолвить эти слова...*

Впрочем, тут у Некрасова даже не песня, а Песнь во славу народного сердца. Песнь — как эпос о великорусском племени, **УДЕРЖИВАЮЩЕМ** на Земле **ЛЮБОВЬ**.

В. Г.: Однако мы вплотную подошли к теме социальной у Некрасова, какой прежде всего является его крестьянская тема. Яркая социальная тенденция не “перехлёстывает” ли самой поэзии — в чём нередко упрекали Некрасова?

Т. Г.: Там, где Некрасов — гений (а это подавляющее число его поэтических страниц), такие упреки отпадают сами собой. Хотя многие, в **своём**

социальном раздражении и предвзятости, нелепо отказывали ему в гениальности, не разгадав, что в его лице явился **великий** поэт — с непременною, стало быть, новизной голоса, тем, взгляда... Обозначим, кстати, и ещё одно “белое пятно” в предшествовавшей поэзии, которое “закрасил” Некрасов. Он ведь дал небывало широкий, многоликий, с огромным богатством характеров, отсутствовавший до него в поэзии образ русского крестьянства. С **осмыслением** крестьянского мира, какое не найдёшь даже у Кольцова... Осмыслением крестьянства как “соли земли”, как миродержавного “сеятеля нашего и хранителя”, а не просто как угнетённого класса. Ведь важно отметить, что эта социальная тема у Некрасова при всём бытовом реализме, идущем от “натуральной школы”, неотрывна от темы духовной. Не одни же сострадательные слёзы, но сколько также и восхищения вызывают могучие типы крестьян хотя бы в поэме “Мороз Красный Нос”. Да мы ведь уже и говорили о душевной чистоте, духовной высоте иных некрасовских героев “из мужиков”... Тут своего рода титаны, богатыри и духа, и физической мощи. Так что, право, порою хочется сравнить Некрасова с... Гомером. Предложить *этот* ракурс нашему дремлющему некрасововедению...

Но не будем забывать, что социальная тема у Некрасова многообразна. Она отнюдь не исчерпывается крестьянской долей. В его поэзии запечатлены представители всех социальных слоёв современной ему России — от волжских бурлаков до еврейских банкиров, откупщиков, купцов-мироедов... Вся, можно сказать, социальная энциклопедия России!

В. Г.: Нынешняя эпоха является своего рода “повторением” некрасовской (насколько возможны в истории повторения). Я имею в виду “второе пришествие” капитализма. Какие уроки следует нам извлечь из “прообраза” наших дней, предстоящего в некрасовских произведениях? Что отжило свой срок, а что остаётся насущным для нас в страстной мировоззренческой позиции Некрасова?

Т. Г.: Всё насущно. Насушен сегодня трагический некрасовский вопрос: **Кому на Руси жить хорошо?** Насушен, по-моему, и завет: “Поэтом можешь ты не быть, // Но гражданином быть обязан”. Насущна вся антикапиталистическая поэма-сатира “Современники” с её отчаянным зачином: “Бывали хуже времена. Но не было подлей”... Что касается “второго пришествия”, то людям, имеющим розовые представления о не пережитом ими лично “пришествии первом”, некрасовские уроки будут горьки. Не понравятся. Уже видно: не нравятся — отчего и отодвинут у нас нынче Некрасов в тень... Проклятие капитализму, проклятие власти денег, “Царю вселенной” — капиталу: ничего иного из Некрасова “позднего” не вычитаешь! И — особая зоркость его: великий поэт и, как все свидетельствуют, “огромного ума” человек, Некрасов, в отличие от инфантильных наших современников, не верил в “русский капитализм”. Он неподкупно видел

*...телец золотой,
Воплощённый в седом иудее,
Потрясающем грязной рукой
Груды золота...*

В. Г.: Беспощадное зрение, ничего не скажешь!

Т. Г.: Ну, порой даже кажется: писано не 130 лет назад, а ввиду испытанной нами уже “семибанкирщины”... Впрочем, у Некрасова — целый калейдоскоп разнонациональных (и равно космополитизированных капиталом!) лиц. Тут и греки, и немцы, и “русаки”, в том числе и вельможи, сановники, готовые пустить страну с молотка, — всяческие “тузы-акционеры”, циничные предприниматели, мошенники-подрядчики, ростовщики-процентчики, и “народившиеся кулаки”, что “по селяньям зверем рыщут”, и мастаки увезти “из России миллионы”, и факторы, подобные “находчивым янки”, и “эксплуататоры пьянства народного”, и т. д. В паре с “израильтянами”, пусть играющими роль первой скрипки во всероссийском разбое, — “и российские дворяне, // И моршанские скопцы”, и “Шуйско-Ивановский гусь”, и “сын степей”... Смешаны нации и сословия. Тут и покупная пресса, и “экс-писатель”, и интеллигент-профессора — прежде “скромные труженики”, “старые патриоты”, “об Отечестве печальники”, пустившиеся теперь в биржевые спекуляции и наживу любыми средствами... Страшно читать! Воистину — не в бровь, а в глаз

героям нашего времени! Хоть бы и “закононеуязвимым” нашим “приватизаторам”, олигархам – “шайке той // Из всех племён, наречий, наций, // Что исповедует разбой // Под видом честных спекуляций!” А когда я говорила о некрасовском проклятии миру капитала, “новейшим господам”, постигнувшим “порядки Новой эпохи”, – то это именно так, во всей безусловной бескомпромиссности:

*Прочь! Гнушаюсь ваших уз!
Проклинаю процветающий,
Всеберущий, всехватящий,
Всеворующий союз!..*

В. Г.: Да... Многие сегодня поёжятся от столь клеймящих строк... Однако напрашивается пикантный или каверзный вопрос: как согласовать такие некрасовские обличения мира денег с собственным стремлением поэта к богатству? С тем, что говорил Достоевский: “Миллион – вот демон Некрасова!”? Наконец – с его практицизмом предприимчивого издателя? Не всем ведь понятен практицизм, деловые качества поэтической природы. Хотя сегодня, может быть, именно их стоило бы развивать в себе русским писателям?

Т. Г.: Достоевский, которому, как мы знаем, принадлежит и множество самых высоких слов о Некрасове (похожих на гоголевские слова о Пушкине), в данном случае, по-моему, несколько схематизировал глубокую, сложную природу великого поэта. Схематизировал чуть ли не как герой романа “Подрасток”... В самом деле: не странно ли, что человек, чей демон – миллион, “списывает” самый светлый образ поэмы “Несчастные” с Достоевского-каторжанина? Политического каторжанина... Что-то не вяжется это с “самым мрачным и униженным бесом”, якобы жившим в душе Некрасова, который, кстати, создавал свою поэму как раз в годы каторги Достоевского... Впрочем, Достоевский не приписывает поэту любви к “золоту” как к таковому, которая свойственна капиталистическим “рыцарям наживы”, но говорит о “жажде самообеспечения” как залога независимости чрезвычайно бедствовавшего в юности, погибавшего от голода поэта. Однако стремление к полной независимости связывается у него со скептическим чувством к людям, способным погубить ближнего “и без злости”, со своего рода “неверием в людей”... Во всём этом рассуждении я – повторю – вижу скорее **романиста**, чем близко постигнувшего Некрасова человека. Те же, кто действительно близко и долго наблюдали якобы “мрачного скептика”, прекрасно знали:

*Что под маской наружного холода
Бесконечная скрыта любовь.*

В конечном счёте, всецело понял это и Достоевский, пожелавший “лежать рядом с Некрасовым”...

Кстати, перенимая манеру “романиста”, могу предположить, что Достоевский в определённые периоды своей жизни ревновал к “невероятному” счастью Некрасова в карточной игре... Оба ведь – природы азартные. Но у Некрасова-то при том – “математический” ум и “могучая воля” (как пишут о нём современники), помогавшая сохранять незыблемое хладнокровие. Такой парадокс: хладнокровие – в азарте, – другим русским классикам-игрокам не свойственный!

В. Г.: Многих интриговало происхождение, а затем и судьба некрасовских денег – плодов его предприимчивости.

Т. Г.: Происхождение?... Широкая издательская деятельность, большие доходы (десятки тысяч рублей) от издания собственных сочинений (ибо не было в 60-е–70-е годы XIX века более раскупаемого автора, чем Некрасов) и вон та счастливая, мастерская карточная игра в Английском клубе как средство дохода. Ну, а судьба некрасовского “капитала” – естественная для поэта: ничего после смерти его не осталось! К удивлению завистников...

В. Г.: Чем же объяснить это?

Т. Г.: Самой целью некрасовского “стяжания”. “В нём (Некрасове. – **Т. Г.**) постоянно жила не одна только хозяйственная жилка литературного предпринимателя, – говорит, в ряду множества других современников, П. Боборыкин, – **но главным образом любовь к делу, к успехам свободной**

русской мысли, к изящной словесности, к поэзии. ... В нём сидел настоящий борец за русскую мысль и слово". Некрасову было мало личной, индивидуальной материальной независимости. В эту его независимость включено было и благосостояние многих других (нуждающихся) писателей и даже их семей в случае преждевременной смерти или иного "выбытия" кормильца (случай Добролюбова; случай ссыльного Чернышевского). Поразителен масштаб некрасовской помощи молодым талантам и даже тем, в ком просматривался ещё лишь "зародыш дарования". Помимо высокой по листной оплаты в журнале (75 руб. за лист!), Некрасов выдавал им ещё и ежемесячное содержание. Оплачивал даже их лечение за границей, да и просто знакомство с Европой, а также разъезды их по России. (Один лишь Николай Успенский стоил безотказному Некрасову тысяч и тысяч). Содержал Некрасов и неимущих студентов... И всё это — без афиширования, как само собой разумеющееся. Поэт сам постоянно, с первой же встречи предлагал начинающим литераторам деньги, не ожидая просьб. И даже клал, не считая, вечерний карточный выигрыш в ящик подзеркальника в своей прихожей: пользуйтесь, мол, коли бедствуете, коллеги!

В. Г.: Всё это выглядит ныне словно сказка Шахерезады. Невероятно?... И это — при "делецкой натуре"?

Т. Г.: Мне иногда хочется назвать Некрасова Гарун-аль-Рашидом русской литературы. Или её добрым волшебником... И беда, что практицизм Некрасова-издателя, Некрасова-редактора в благороднейшей своей сверхзадаче отнюдь не по вкусу издателям сегодняшним. Ведь Некрасов в своё время решительно изменил литературно-издательскую политику. Политику эксплуатации "тружеников пера". Он противопоставил ей, я сказала бы, **стратегию выживания и развития русской литературы**, представленной уже по большей части обедневшими дворянами (тот же Достоевский, весьма обязанный Некрасову) и бескоштными разночинцами... Довольно сказать, что как только стал выходить некрасовский "Современник", повсюду резко взлетели авторские гонорары. Некрасов разом создал прецедент высокой оплаты писательского труда, и, чтобы удержать у себя хороших авторов, ему вынуждены были подражать все прочие издатели. Сегодняшняя практика, когда редактор издания получает на порядок (и выше!) более денег, чем публикующийся у него профессиональный писатель, есть, с точки зрения Некрасова, социальное и нравственное преступление, позорнейший грех. В наши же дни издатель-редактор, хоть бы и на "патриотическом фланге", — это зачастую сытый, лоснящийся буржуа перед лицом нищенствующих талантов, которым нередко предлагаются и попросту безгонорарные публикации! Слово бы эти редакторы-издатели сами тоже работают "на общественных началах"... Как известно, случаются и просто "дьяволиады". Под фактическим девизом "Долой стыд!". Это когда какая-нибудь страшно "независимая газета" ещё и по телевидению транслирует баснословную нуворишескую роскошь своих забав и лулловых пиров, своих "золотоносных" редакторов, а меж тем копейки платит основной массе авторов, в том числе и известным писателям, да и копейки-то эти — не в срок, а с томительными затяжками, опозданиями... Живы, живы, увы, некрасовские "Юбиляры и триумфаторы", празднующие сегодня "победу" над талантливым и непродажным русским словом!

В. Г.: Оно же, по вашему мнению, как и по некрасовскому убеждению, — непобедимо? Я, признаться, тоже исповедую эту веру.

Т. Г.: И всё-таки, разумея такого заботника о русской мысли и слове, как Некрасов, хочется сказать его же словами: "Природа-мать! Когда б таких людей // Ты иногда не посылала миру..."

В. Г.: "Заглохла б нива"... русской словесности?

Т. Г.: Была бы скудной, суше... Да, пожалуй, и просто: больше бы литераторов погибло от чахотки, в нищете... Некрасов спасал, подымал русскую литературу и в прямом физическом смысле... Не оставляя без внимания ни одной талантливой рукописи, он видел в писателе также и **человека**, не всегда "семижильного". Не уповал на эту "семижильность", хотя сам-то обладал ею, к счастью. Нынче же литературу в основном душат: не цензурой, так истребительными условиями жизни, в какие поставлено множество писателей. Душат, очертив разве что самый узкий круг "достойной жизни", куда входят по преимуществу **маргиналы**. Ну, и горсточка устарело-именитых — спекулянтов былыми, давнишними заслугами.

В. Г.: Но не обусловлена ли щедрость Некрасова к авторам-писателям прибылью от того же “Современника”, а потом “Отечественных записок”? Ведь эти журналы шли нарасхват, в отличие от нынешних убыточных периодических изданий.

Т. Г.: “Современник”-то зачастую совершенно “прогорал” из-за некрасовской щедрости. Как пишет многолетний казначей “Современника”, сохранивший всю хозяйственную документацию его, “без всякого соображения с финансовым состоянием журнала многим деньги выдавались вперёд, в счёт будущих работ, — на неопределённое время”. В том числе — под так никогда и не написанные произведения или же написанные, но переданные другому издателю, без возврата аванса “Современнику”. А когда соредактор (И. И. Панаев) или казначей отчаивались от такой нерасчётливости, Некрасов успокаивал их, что для следующего номера журнала даст свои собственные деньги. Вне журнала обретенные, ибо как редактор получал “менее, чем... постоянные сотрудники” (авторы). И — давал свои собственные. Вместо того, чтобы строить на них дворцы, “виллы” или скупать предметы роскоши... Не довольствуясь этим жертвованиём, Некрасов добавлял свои деньги и к журнальным гонорарам писателей. “Такие выдачи из своих денег Николай Алексеевич производил беспрестанно”, — вспоминает современник. Причём не брал расписок, не вёл и записей для себя об этих тратах. Некрасов был очень добрый, отзывчивый, сострадательный и деликатный человек. Никогда не требовавший возвращенья частных долгов ему, как и несчётных авансов, коллегами не отработанных. Он помогал людям безоглядно, без ревности, зависти к чужому таланту и успеху. Вводил в литературу новые дарования, по-отечески лелея их, прощая им и эгоизм, и заносчивость, и — нередкую — вопиющую, увы, неблагодарность... Он был так сказать, бессребренный “миллионщик”, почему и умер, не оставив ничего, кроме своих книг. Ну, и книг так горячо поддержанных им лучших его современников — открытых им и возведённых на общественный пьедестал...

В. Г.: Вижу, что вы отвергаете все кривотолки о личности Некрасова. Все разговоры о его “безнравственности”, “двоедушии” и т. д. Но возникает вопрос: отчего же так много отчаянных самоубийств в поэзии Некрасова, столько жёсткой “самокритики”, покаянных мотивов о погружении “в тину нечистую”, “мелкие помыслы, мелкие страсти”?

Т. Г.: Я отвергаю все — скажем прямо — беспримерные клеветы, каким подвергался Некрасов. Есть такое понятие: литературная и общественная несправедливость. Она устанавливается не читателями, а литературной, “интеллектуальной” средой, которая относительно Н. А. Некрасова не была в целом ни особенно добросовестной, ни дальновидной. (Нечто подобное, хотя и в своём роде, испытал, замечу, **на другом полюсе** К. Леонтьев. Впрочем, названная несправедливость — нередкое в истории культуры явление и избирает жертвой своей именно самобытнейшие, “некондиционные” фигуры). Однако вы задали плодотворный вопрос. На который в пору ответить актуальным контрольным вопросом: а отчего в современной нашей поэзии, литературе нет мотивов личного покаяния, публичного раскаяния в неправых моментах авторского пути, в заблуждениях, увлекавших следом за писателем и читателей, общество? *Нет*, по моим наблюдениям, даже и в публицистике нашей, хотя многие, многие пишущие клянутся ведь в своей православности?..

В. В. Розанов, говоривший о “тонком и нежном сердце” Некрасова, Розанов, смеявшийся над “Плюшкиными праведности” (“они или кичливы, или малодушно испуганы”), да и Достоевский отмечали, что Некрасов способен был каяться в тех грехах, какие мы (множество других “благородных людей”) и грехами-то не почли бы... То есть тут снова возвращаемся к органичной, глубокой религиозности некрасовской природы. К православной чистейшей “мелодии” его духа... У Некрасова был, я сказала бы, дар покаяния — редкостной искренности, мужества и силы. Я пыталась подчеркнуть это в своей книге о Некрасове, которого иные до сих пор ещё легкомысленно зачисляют в разряд “несомненных грешников”:

*Всё гадают: какие деяния
положить на какую из чаш?..
“Я пою тебе песнь покаяния”, —
он промолвил, неправедный наш.*

Эта вот песнь покаяния – перед матерью, перед Родиной, перед тенями ушедших, перед народом, в конечном счете, покаяния именно на личном, индивидуальном уровне – вопреки принятому сегодня подленькому, трусливому, мажущему и неповинных “мы” (“мы не поняли”, “мы ошиблись” “мы проглядели” и т. п.), – эта вот рвущая душу некрасовская песнь дала русской поэзии такой мощный звук, такую силу тоски по праведности, такое стремление к благодатному обновлению духа, каких до Некрасова мы не знали. Вся мировая поэзия, пожалуй, не знала... И эта песнь покаяния содержит в себе, конечно, указание на путь русской святости.

В. Г.: Последний вопрос: а какие строки Некрасова считаете вы путеводными сегодня – и для себя, и для всех нас, наследников великого русского поэта?

Т. Г.: Хрестоматийные:

***ОТ ЛИКУЮЩИХ, ПРАЗДНО БОЛТАЮЩИХ,
ОБАГРЯЮЩИХ РУКИ В КРОВИ
УВЕДИ МЕНЯ В СТАН ПОГИБАЮЩИХ
ЗА ВЕЛИКОЕ ДЕЛО ЛЮБВИ!***